



НОВАЯ КЛАССИКА / NOVUM CLASSIC

СЕРГЕЙ · САМСОНОВ

# Железная кость

Москва, 2017

УДК 82-31  
ББК 63.3(2)622  
С17

**Самсонов, С. А.**

С17 Железная кость / С. А. Самсонов. — М. : РИПОЛ классик / T8RUGRAM, 2017. — 672 с. — (Новая классика/Novum classic).

ISBN 978-5-519-50749-3

Один — царь и бог металлургического города, способного 23 раза опоясать стальным прокатом Землю по экватору. Другой — потомственный рабочий, живущий в подножии огненной домны высотой со статую Свободы. Один решает участи ста тысяч сталеваров, другой обреченно бунтует против железной предопределенности судьбы. Хозяин и раб. Первая строчка в русском «Форбс» и «серый ватник на обочине». Кто мог знать, что они завтра будут дышать одним воздухом.

**УДК 82-31**  
**ББК 63.3(2)622**  
**BIC FA**  
**BISAC FIC000000**

*В оформлении обложки использована работа  
художника Андрея Карпова*

*Литературный редактор Т. Тимакова*

*Издательство благодарит Vanke, Goumen & Smirnova Literary  
Agency за содействие в приобретении прав*

© Самсонов С. А., 2015  
© Иллюстрация на обложке. Карпов А., 2015  
© ООО Группа Компаний  
«РИПОЛ классик», 2015  
© T8RUGRAM, 2017

ISBN 978-5-519-50749-3

# 1. ДЕТЯМ ЧУГУННЫХ БОГОВ

## ФАМИЛИЯ РОДА

### 1

Чугуев навсегда запомнил день, когда отец впервые взял его с собой на завод. Как все в цеху мгновенно озарилось едва переносимым солнечным свечением расплава, когда открылась лётка и рванулась безудержная магма на свободу, и как метались доменщики с длинными баграми, с бесстрашием привычки бросаясь на огонь и управляя этой рекой с непогрешимой выверенной точностью, заставляя разбиться ее и потечь по проложенным в чистом песке желобам, и как он сам в себе почувствовал распускающуюся огненную силу, и как это чугунное пламя, которому он причастился, стало кровью вообще всей советской земли, всего мира — никогда не могущей остыть и катящейся только туда, куда ей приказали вот эти всеильные, обыкновенные, диковинные люди.

Завод стал для него единственной сказкой, таинственным влекущим миром превращения уродливо-бесформенного первовещества в законченные прочные литые человеческие вещи, которые нельзя сломать и израсходовать в пределах целой жизни. Там, на пространстве, не вмещаемом в рассудок, ярился и ревел протяжный зверь подвластных человеку колоссальных сил природы; там можно было

увидать живое, дышащее солнце, туда, прямо в солнце, в бездонную жрущую глотку, ты мог швырнуть за хвост придушенную крысу и увидеть, как она сразу разрывается и от нее не остается ничего.

Огромны и полны высокого значения были люди, соединявшие чугуны и пламя воедино, и самым главным великаном среди них — отец, хотя, конечно, были все они черны, в маслах и копоти и плохонько одеты, все сплошь в обтерханных фуфайках и разбитых сапогах, беспрерывно курящие и плюющие темной слюной, состоящей из шихтовой пыли, набившейся в легкие за истекшую смену — и за всю проходящую жизнь.

По эту сторону ворот сталеплавильного могутовского царства был тесный мир барачного поселка — дощатых стен, отхлестанных дождями и ветрами до седины, серебряного блеска; подслеповатых лампочек на голых проводах, железных бачков с кипяченой водой, застиранных линялых парусов, вздувавшихся и хлопавших на бельевых веревках во дворе, нехватки дров, обманчивого чувства горячей тяжести в желудке после тарелки пшенной каши или постных щей; чадящих примусов, цветастой занавески перед родительской панцирной кроватью, пошитых матерью из байкового одеяла шаровар, окаменелых залежей дерьма в отхожей яме под щелястой будкой, черного хлеба, чуть присыпанного сахарным песком из размозженной грязно-белой головы или пропитанного золотым башкирским медом, — единственного лакомства чугуевского детства; общих длинных дощатых столов,двигаемых для свадеб и поминок вместе под открытым небом, отскобленных ножами и окаченных чистой речной водой из ведра, гор дымящейся белой картошки, помидоров, прохваченных солью до жил сердцевины, самогонных бутылей, налитых молочным туманом по горлышко, заунывных, звенящих острожной тоской, слезно-жалобных песен уральских старателей, каторжан и разбойников и напористо-яростных новых, советских... уже вот-вот должна была возвыситься и воцариться от конца до края над землей, уничтожая, вымывая из человеческого слуха все другие голоса, на смертный бой зовущая единственная песня.

«Вставай, страна огромная!..» — вот этот голос, сплавленный из прорывы отдельных волей рабочих и крестьян, потребовал от комбината ежедневных рекордов по выпуску броневго листа.

Он, Толик, тоже — хоть и был по современным меркам освобождаяще, неосудимо мал — встал в сорок третьем в строй к станку обтачивать болванку минного снаряда: брызгала стружка, извинаясь блестящей лентой; гладким сиянием начальной новизны показывалась сталь — головкой смертоносного ребенка между ног неутомимой и неистойвой роженицы.

Все это делалось вдали от торжищ выставочных митингов, велеречивого вещания партийных воевод — упитанных и бодрых как раз потому, что они не пехота, не рядовые комсомольской, подростковой, стариковской и женской трудармии уральского металлургического тыла; вдали от повторенных миллионы раз «Да здравствует Коммунистическая Партия Советского Союза и ее великий вождь...» — Чугуев сызмальства и накрепко вознелюбил «людишек на бумагах», «конторских крыс», трибунных болтунов — всех, сроду не производивших ничего, кроме библейских кип отчетов и воззваний, но получавших калачи и сливочное масло в доступных только высшей расе спецраспределителях.

Вечно полуголодные (выдавался кусок провонявшей селедки и по двести граммов черного хлеба по карточкам, воровали которые по ночам друг у друга иные), изнуренно-больные, обтянутые по костям заскорузлой брезентовой кожей, тыловые рабочие люди с угасавшими от недосыпа глазами и кованными вместе с оружием руками исполняли все молча и с остервенением, понимая: теперь можно строить одни самолеты и танки, за танковой броней с бронбойными снарядами в стволах наших людей так много убивать не будут, нельзя такого допустить, чтоб наших убивали слишком много.

И всегда так: работа, которую ты должен делать, потому что никто за тебя ее больше не делает, — расшатаются, выпадут все железные скрепы, все сваи, на которых стоит справедливость и сила всех русских. Лишь когда люди стронулись и цехами поехали из барак в квартиры — лишь получив возможность сличать разные уровни материального достатка, он, Анатолий, стал осознавать ту нищету как нищету, ту проголодь — как нечто ненормальное и унижительное даже для трудового человека, а не единственный возможный способ бытия. То есть желание удобных комнат, мягкой мебели, горячих ванн, белого хлеба с колбасой, кожаных бот на каучуковой подошве (а не брезентовых на дере-

вянной), путевок в Крым по профсоюзной линии могло возникнуть только после главного и общего железного. Вот сперва броневые листы, а потом уж комфортабельный. Он, Чугуев, иными словами, считал, что надо только добросовестно, всей своей силой вкладываться в дело — и постепенно будешь родиной за то вознаграждаться, получать по заслугам за отданное.

Двадцать колен его предков, земляных и уперто-живучих, пахали и сеяли, молча гнули хребты на помещика, воевали, забритые в рекруты, брали приступом Плевну для «Царя и Отечества», хоронили младенцев и сходили с земли, как трава... и так, пока не просияла Революция, освобождая темных, несознательных, им говоря: настало ваше время — не исчезать безмолвно и бесследно, будто и не было вас вовсе на земле; вам построить своими руками себе все, что вы захотите, и оставить все, что захотите, на глобусе; вам построить страну на началах справедливости, собственной правды... И отец подорвался от сохи в областную Самару, пятнадцати годов, в единственной посконной рубахе и лаптях.

Не то чтобы город тянул его к себе с неодолимой силой — скорее, родная деревня выдавливала, как злая мачеха непрошеного пасынка из дома, а может быть, наоборот, как мать, что всей остатней силой тужится дать жизнь упершемуся плоду и умирает, обескровев, с первым криком освобожденного ребенка. Голод, голод толкал переменить свои семь десятин и остающуюся после продразверсток горстку хлеба на дым и грохот зачинающейся в муках индустрии, на гарантированную пайку и отравленную машинным маслом и мазутом землю. И он пахал, отец, все явственнее слыша в лязге и рокоте станков пульс становящегося будущего, которым может управлять освобожденный пролетарий, и вот когда уже проникся в должной мере пониманием себя как частицы рабочего класса, завербовался вместе с сотнями других на стройку нового сталелитейного завода на Урале. Двести тысяч крестьян и рабочих раскачались, корчюя себя из отцовской земли, и ручьями и речками покатали в Могутов — неведомый город, про который им всем говорили так, будто он уже существует, в то время как его на самом деле еще не было.

Была одна сплошная выжженная степь, без края простиравшаяся ровно и глядевшая на человека так, будто никакого еще че-

ловека не появилось в этом неподвижном, мертвом мире и не должно было явиться никогда. Была одна великая река, делившая сплошное тело родины на два материка, была казачья глинобитная станица Могутовка — десяток съеденных степным простором хуторов, разбросанных в степи и жмущихся к подножию горы, была сама Магнитная гора — родящая на километры вглубь неразработанную прорву магнитного железяка на сшибке осадочных известняков с низверженным гранитом. И не было у этих двухсот тысяч поселившихся в землянках голодных и холодных почти что ничего — только голые руки с лопатами, ломами и каелками и безмерно живучая, вне рассуждения, решимость исполнить то, что им поручила абсолютная сила — Коммунистическая Партия большевиков Советского Союза.

Рос в глубину и ширился уступами великий котлован — лопата за лопатой, грабарка за грабаркой, и пока двести тысяч Чугуевых с остервенением вгрызались в кремнезем и пригибавшиеся в жилистых ногах от тяжести верблюды несли распиленные бревна на горбах к подножию Магнитной — три миллиона золотых рублей, отлитых из драгоценной утвари разгромленных церквей, перетекли из недр Гохрана в частные хранилища немецких Круппов и британских Трайлоров — за пневматические молоты и башенные краны, электровозы, думпкары, бурильные машины. Привыкшие к горячим ваннам и крахмаленым рубашкам инженеры компании «MacSee», штат Кливленд, прибывшие в страну большевиков вести проектировку металлургического города, с брезгливым ужасом и сладким, самолюбивым состраданием смотрели на параллельную и несомненно тупиковую ветвь человеческого рода: в то, что безграмотным, безумным, узколобым этим русским удастся здесь, в Siberia, выстроить машину, неверие их не содержало грана посторонних примесей. И наблюдали человечески необъяснимый переход землепашцев с червячьей на вторую космическую: «в темпе, посильном раньше лишь для разрушения», бригады Варочкиных, Климовых, Чугуевых без остановки вырубали первые шурфы и отвалили первые пудовые отломки словно ржавой от крови руды с невиданно высоким содержанием чистого железа; воронкой подземной башни, возводимой не ввысь, а в глубину, разросся циклопический карьер — впервые

в мире горная добыча повелась открытым способом. Отец потом рассказывал Чугуеву, как Сталин присылал в Могутов своего безмозглого кавалериста Ворошилова, и Ворошилов палкой, как пашкой, указывал дрожащим инженерам: «рубите штольню в данном направлении», и им пришлось рубить и вынуть из горы сто метров каменной породы за неделю: обязанность немедленно предъявить правительству СССР плоть своей правоты и полезности родине придала им выносливость землеройных машин — Климент забрал с собой в Кремль полдюжины кусков магнитного железняка и положил на стол беспримесной правдой перед Сталиным.

Наемные британцы, немцы, янки замороженно вглядывались в мощно дышащую пропасть — шестидесятитонные дробильные машины Трайлора монтировали с помощью одних лебедок эти безумные, белогорячечные русские, не дожидаясь, пока башенные краны в трюмах пароходов переплывут через Атлантику; в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско всем стало видно странное свечение на Востоке — алтарные отсветы первых могутовских плавков. С вершин Магнитной открывалась ошеломляющая беспредельность умной жизни; дышала там, не помещаясь в окоем, и клокотала вулканическая лава, надежно заключенная в динозавровые стены и неразломные стальные кожухи и хоботы, распределенная по уйме отводящих желобов и рвущаяся к небу косматыми столбами фиолетовых дымов и языками, мускулами пламени.

Спрессованный из яростной несметы выдохов и хрипов, протяжных и прерывистых гудков, неявный колоссальный шум порабощающе валился в черепа, и вне плавильного дыхания завода ты лично более не мог существовать. Ручными бабами вколачивая сваи в промороженную землю, ты строил этот вот завод из ничего, из себя самого, своих жил и костей, но и завод тебя ковал и плавил непрерывно, и, не рассыпавшись в труху, ты начинал свое существование сначала — уже другим, стальным, огнеупорным слитком переродившегося человеческого вещества, изжившим узкий эгоизм утробы и перекованным по высшей мерке трудового послушания.

Пузатыми, окатистыми идолами вечно беременных, вечно рожаящих богинь советского народа незыблемо торчали из зем-

ли и неприступно уходили в небо стоохватные, неумолимо воцарившиеся над Уралом доменные печи — выше Кремля и Дома Совнаркома, сами купол и небо, заключающие солнце в себе. Сквозь слоновьи их стены был слышен подземный стон магмы: мне тесно, отпусти меня, вызволи, — и ты, подходя с пикой к лётке, своей рукой отворял кровь земли; явлением высшей воли веяло от домны, не идущим в сравнение с деревянной приземистой церковью и ночными коптилками отмененного Бога.

Крестьянский сын Семен Чугуев становился перед домной — мало сказать: причастным к этой силе, но разгоняющим ее и проводящим, ее вмещающим в себя. Постичь вот этот умный хаос, гудящий и кипящий в сочлененных конусах и трубах, им овладеть и вместе с тем служить ему, усиливать, так, чтобы все внутри печи не меркло, не слабело, не останавливалось, не закохенело, быть с этой домной, как с женщиной, и помыкать ее живородящим огненным нутром — вот что представилось ему единственной стоящей задачей. И то же веяние в свой срок так же безжалостно и чисто опалило его сына.

## 2

У девятой он домны, самой крупной и мощной на всем континенте, горбатится, чувствует лишнюю силу в натянутых мышцах спины и ручищ, когда каупер он переводит с Мишаней вручную на другую площадку, — цилиндрический кожух стальной над ячейками пышет остаточным жаром, пропекает ладони; когда в низких и тесных, как мамкина норка, перешейках технических кланяется домне; когда мастер Борзыкин за пультом командует: «Эй, Валерка, уснул там, на северной? Кто за буром там, ну?!». «Я Валерка!» — в горячем спокойствии направляет бур в лётку — заглубиться нажимом одним на длину ее всю — как до матки, достать до заваренной магмы, но вот плохо идет, в мерзлоту будто вечную хером, распиковка вручную нужна... поднажали, открыли — ломанул

чугун, затопить все пространство под ногами в кратчайшее дление способный, и воюет Валерка с чугунной рекой, густо-алой сияющей лаве не давая хлестнуть за края желобов, в берегах понуждая держаться.

В неподъемном глухом прибывающем гуле печь пустеет до дна, сдав чугунную кровь и малиновый шлак в подведенные ковшки. «Закрываем!» — Борзыкин разевает пасть в крике, и Мишаня изогнутой пикой сбивает перевал на своей стороне, и Валерка подводит к зияющей лётке гидропушку с полуторатонной глиняной бомбой. Вот и кончена смена, на загрузку бригада Долгушиных — близнецов и их деток, таких же с лица одинаковых, — заступает заместо борзыкинской. Доломит раскаленный, хоть и пеплом подернулся, обжигает ступни сквозь подметки, и из цеха они — в раздевалку, под душ; прокопченные дымные комбинезоны отстают, словно кожа; топчут плиточный пол — голых тел самый полный сортамент: худосочных, с просвечивающей через кожу решеткой ребер; располневших, с наплывами на боках жировыми; мускулистых, литых, толстошеих, безволосых, заросших жестким волосом сплошь. Из кабинок друг дружке через стенки кричат, у кого есть охота: «А сифон-то ни к черту!» — «Что ж затворы опять не проверил? Ну а газ рванет — что? Все на воздух и в рай?» — «Не, нам рай не положен». — «Ну а что же нам — ад?» — «Ну так ад нам чего? Ведь курорт после домны». — «Ад, он выше, над нами, а мы тут не горим»... И в поток первой смены вливаются, все в гражданке уже, в олимпийках и трениках, кто в костюмных брючатах и рубашках цивильных, а навстречу вторая им смена валит.

На простор вырываются — небо сизое, хмарное, ледяное конца октября непрерывно меняет себя, оставаясь все тем же, неизбывным, глухим и незрячим, не знакомым с людьми; неизменный встречает их скудный пейзаж, если можно сказать так — «пейзаж» — про бетон и асфальт, про кирпичную кладку забора с узловатыми дебрями сизой колючки поверх.

— Власть на заводе-то меняется, слышали? — по дороге к шалману, которого не миновать, Степа всех будоражит.

— Чего-о?!